

Новые книги Нового Света

с Мариной Ефимовой

Совместно с радио “Свобода”

FRANCINE PROSE *What made the Russian Literature of the 19th century so distinctive?* — NY Times Book Review, Nov, 30, 2014

Статья американской писательницы и публицистки Франсин Проуз в “Книжном обозрении” газеты “Нью-Йорк таймс” называется “Что сделало русскую литературу XIX века такой значительной?”. Вероятно, у каждого русскоязычного читателя есть свой ответ на этот вопрос, но чрезвычайно интересно узнать, что остается от великой литературы современному, взыскательному американскому читателю после её перевода на английский язык. Проуз начинает со сравнения:

Почему мы все еще читаем русских писателей позапрошлого века с неослабевающим наслаждением и восхищением? В чем их секрет? В убедительной силе? В прямоте и честности? В точности, с которой они описывали важнейшие аспекты человеческого опыта?.. Именно — важнейшие. Не опыт свиданий с партнерами, выбранными компьютером; не яростное раздражение из-за мелких неудобств; не возмущение задержкой заказа, выполненного на день позже. Нет, другого ранга события и чувства незабываемо описывали они в своих произведениях: рождение, смерть, драмы детства,

первую любовь, брак, счастье, одиночество, предательство, нищету, богатство, войну и мир.

Окидывая взглядом широту и глубину тематики русской классики, Проуз фиксирует еще несколько особенностей писателей XIX века: “Они представляют каждого человека целым миром, — пишет она. — Вероятно, поэтому все их герои (хотя они родились и выросли в одной стране) так неповторимо индивидуальны”. Проуз признается, что ей хочется “аплодировать способности этих писателей убеждать нас в том, что в человеческой природе, в человеческой душе есть силы, готовые преодолеть преграды, поставленные требованиями общества, классовыми и национальными различиями, и даже временем”.

Прозу восхищает бурным воображением Гоголя — таким ярким, что порождения его фантазии кажутся читателям не только вполне возможными, но даже естественными — например, если человек, проснувшись утром, обнаруживает пропажу собственного носа. Убедительность и яр-

кость гоголевской фантазии, по свидетельству Франсин Проуз, позволяет иностранцам вполне оценить Гоголя, несмотря на предупреждение Владимира Набокова, которое Проуз приводит в статье:

Конечно, мы можем ошестивиться на утверждение Набокова, что “если Гоголя читать не по-русски, то его вообще можно не читать”. Набоков говорит о гоголевском языке — свежем, описательном, богатом юмором и неожиданными деталями. И наше восхищение еще усиливается от объяснения Набокова, как Гоголь избегал банальностей, “унаследованных от древних”. От века “небо было голубым, закат — алым, листва — зеленой. — объясняет Набоков. — Только Гоголь, первым, увидел желтое и сиреневое”.

Бегло обсуждая в короткой статье гигантов русской классики, Проуз пытается выделить наиболее впечатлившие ее черты их литературных талантов: “Персонажи Достоевского, — пишет она, — и для нас, иностранцев, — живые люди, абсолютно реальные, даже если мы подозреваем, что в реальности никто не ведет себя так, как они: кидаясь друг другу в ноги или рассказывая с шокирующими деталями всю свою жизнь первому встречному в пивной”.

И далее — об особенностях чеховского таланта:

Печальная утонченность, сверхъестественное искусство приоткрывать спрятанные, глубинные эмоции мужчин, женщин и детей, населяющих его пьесы, его повести и рассказы.

О Толстом:

Монументальность замысла и острейшая пронизательность поднимает на эпический уровень каждый эпизод романов Толстого — от обыденной варки варенья или воровства слив деревенскими девочками — до трагических полотен Бородинской битвы в “Войне и мире” или скачек в “Анне Карениной”.

О Тургеневе:

У Тургенева природа становится таким же важным персонажем, как и люди. Так же, как они, она дотошно описана, и так же, как они, все равно остается непостижимо мистической.

“В дополнение, — пишет Франсин Проуз, — я могу посоветовать тем, кто ищет наиболее полного ответа на вопрос о загадке русских классиков XIX века, прочесть набоковские ‘Лекции по русской литературе’”.

Некоторые аспекты отношения Набокова к литературе могут раздражать: например, его аристократические предубеждения, его презрение к персонажам романов Достоевского — этим, как он пишет, “невротикам и лунатикам”; его отрицание почти всей литературы советского времени. (Хочется спросить: а как же Ахматова, Платонов, Бабель?) Но, с другой стороны, никто не написал так пронизательно, как Набоков, о двух самых волнующих рассказах Чехова: “В овраге” и “Дама с собачкой”; никто не представил более убедительных доказательств блистательного великолепия романа “Анна Каренина”. И все же,

поверьте, читать русских классиков — даже лучше, чем читать лекции Набокова об их произведениях. Читать и перечитывать, потому что их книги еще сильнее поражают своей красотой и значительностью каждый раз, когда мы возвращаемся к ним. Поэтому, закрыв последнюю страницу последней книги русской классики, возьмитесь снова за первую и начните читать сначала.

Ответила ли Франсин Проз на вопрос, который она задавала в названии своей статьи, — “Что делает русскую литературу XIX века такой значительной?” В поэтическом смысле — конечно. Но есть и более приземленный вариант ответа. В XIX веке в России зверствовала цензура — государственная и церковная, не пуская свободную мысль в историческую науку, в философию, в теологию. Государство и Церковь монополизировали ответы на вечные вопросы человеческой души: в чем смысл жизни? что хорошо и что плохо? Возможно, это обстоятельство отчасти объясняет особое сгущение талантов в художественной литературе, где цензура была не такой непроеходимой. И, возможно, поэтому русская литература XIX века так обогатилась историческими и философскими идеями и богоискательством.

Мне кажется (по долгому опыту эмиграции), что многие американцы относятся к художественной литературе, как к исключительно культурному атрибуту. Начитанность — удел элиты. Видимо, поэтому в общественных школах литературу преподают небрежно и неразборчиво. А для россиян многих поколений русская художественная литература была в детстве главным пособием для вступления в жизнь. Еще до своего личного, всегда ограниченного опыта мы узнавали из бесценных наблюдений великих писателей о сложности человеческих отношений. Мы узнавали в их героях собственные пороки, мы учились улавливать юмор, мы даже русскому языку учились больше у них, чем по учебникам. Тот, кто в детстве хохотал над записью в чеховской “Жалобной книге”: “Подъезжая к станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа”, на всю жизнь усваивал правила использования деепричастных оборотов. Мне кажется, что мудрость и талант великих литераторов, проверенные веками, помогают взрослым и современным детям — причем гораздо достойнее и эффективнее, чем наставления школьных психологов или уроки сексуального ликбеза.

Новая книга известного британского историка античности Тома Холланда называется “Династия. Взлет и падение дома цезарей”. Она охватывает имперский период древнего Рима, начиная с убийства Юлия Цезаря (в 44-м году до Новой эры) и кончая самоубийством Нерона в 68 году Новой эры. Книга написана увлекательно, как роман, и полна деталей, которые редко упоминаются историками. Рецензент газеты “Нью-Йорк Таймс” Мичико Какутани так характеризует общее впечатление от книги:

Мистер Холланд не прячет и не замазывает лакуны в наших сведениях об античности, но он не боится включать в текст и ту информацию, о которой историки всё еще спорят. Используя свое прекрасное знание эпохи, автор создает у читателя почти физическое ощущение невероятной brutality того времени, чудовищных крайностей древнего Рима. Он детально описывает не только резню в покоренной Галлии (где, по некоторым оценкам, около миллиона жителей были убиты и столько же обращены в рабство), не только ужасы гладиаторских боев — популярного развлечения масс, но и все жестокости той борьбы за власть в имперских домах и внутри правящей элиты, рано или поздно принимавших формы убийств, предательств, тайных отравлений и макиавеллиевских ударов в спину.

В книге Холланда меньше исторического анализа и панорамных описаний, чем в других трудах о древнем Риме — например, в новой книге историка-классициста Мэри Бирд “Римский сенат и народ”. Холланд ограничился периодом правления императоров династии Юлиев-Клавдиев (которых обессмертили Тацит и Светоний), и воплотил их образы в галерее портретов. В отличие от Светония, Холланд не раскладывает характеры императоров на положительные черты и на отрицательные, но он развенчивает тех (немногих) императоров, которых до сих пор историки считали относительно человечными и либеральными. Чрезвычайно интересна реакция рецензентов на эту особенность книги. Ник Коэн пишет в газете “Гардиан”:

Английский писатель Роберт Грэйвс в знаменитом романе “Я, Клавдий” изобразил императора Клавдия либералом, окруженным тираническими монстрами, не сильно отличавшимися от тех, которые окружали самого Грэйвса в 1934 г. Однако и Клавдий не оставался перед казнями своих оппонентов — как за реальную, так и за воображаемую измену, подтверждая тем самым идею, что главная черта тирании — тиранство.

И все другие императоры, которых рецензенты книги не

без удовольствия сваливают в одну кучу, оказываются на деле тиранами. Коэн и Какутани кратко характеризуют всех императоров династии, начиная с Октавиана-Августа — основателя Римской империи. Коэн пишет:

Август — террорист в ранней юности, трус на поле боя, смёл всю оппозицию, принес Риму мир после гражданской войны и разрушил республику. Про его милосердие после войны философ и историк Сенека писал: “Я не уверен, что можно назвать милосердием то, что было обессиленной жестокостью”. Странно, что Август остался в истории “отцом Рима”, который, по словам того же Сенеки, “упрекал, бранил, но вёл и любил римский народ”. Тиберий — честный генерал, не поддавшийся дворцовой лести, через несколько лет правления уже проводил политические чистки и развлекался оргиями с детьми римской элиты. Когда он предложил восстановить власть консулов, сенаторы решили, что он убьёт их, если они поверят его республиканским намерениям. (Он и так убил многих). Ко времени смерти Нерона все члены Юлиево-Клавдиевой династии были убиты, в основном — родственниками.

“Садист Калигула, — добавляет рецензент Какутани, — превратил Рим в театр жестоких крайностей. Сумасшедший эгоцентрик и маньяк Нерон, убивший мать и беременную жену, сжигавший заживо христиан, восстановил против себя весь Рим. Хромого Клавдия, которого многие в Риме любили, сенаторы считали угрюмым болваном, игрошкой женщин”.

Все римские императоры, — резюмирует Коэн, — бы-

ли, по сути, военными диктаторами. И далее:

Ученые историки бывают так же слепы, как писатели (Роберт Грэйвс в частности). Оказываясь лицом к лицу с деяниями древних цезарей, они вздрагивают и удивляются, почему люди, правящие мирной и процветающей империей, так отличаются от их собственных президентов и министров. Историки не доверяют Сенеке, когда он говорит о Калигуле: “природа создала его, чтобы показать, как далеко могут зайти пороки в сочетании с абсолютной властью.

Тут возникают сомнения. Абсолютная власть, бесспорно, развращает людей, но, видимо, и по другим причинам людские пороки могут зайти очень далеко, например, до уровня жестокого безумия нынешнего мусульманского экстремизма.

В наше время популярна мысль, что “вся политика — дело грязное, и все политики одинаковые”. Даже образованные люди охотно смешивают в одну кучу всех политиков всех времен и народов. Люди любят борьбу добра со злом и равнодушны к борьбе меньшего зла с большим (чем обычно и вынуждены заниматься политики). Никто не хочет отдавать должное диктаторам — даже если те (как Октавиан-Август) остановили в своих странах кровавый хаос войны. И всё же сама история собственным ходом как-то отделила в своей оценке императоров Августа и Клавдия от Калигулы и Нерона.

Сейчас среди американских студентов началось дви-

жение за развенчание героев прошлого. В одном университете потребовали убрать статую Джефферсона, потому что он был рабовладельцем, в другом университете — снять мозаику с портретом Вудро Вильсона, который поддерживал политику сегрегации. А рецензенты книги “Династия” хотят судить римских императоров за их жестокость и всевластие. Тут нельзя не вспомнить слова Льва Толстого из Эпилога к “Войне и миру”:

Надо исписать десять листов, чтобы перечислить все упреки, которые делают Александру I историки... упреки за то, что историческое лицо полвека назад не имело тех воззрений на благо человечества, которые имеет теперь профессор.

Толстой подсмеивался над профессорами, которые судили политика за то, что тот делал полвека назад. Американские студенты судят политиков, живших 150 лет назад. А рецензенты книги “Династия” меряют нынешними мораль-

ными мерками политиков, живших две тысячи лет назад.

Рецензент Какутани заканчивает свою статью обсуждением роли Древнего Рима в мировой истории. Она признаёт, что Рим — “грандиозное воплощение побед и поражений человека”. Рим “снабдил нас шаблонами для всего”, — пишет она, но при этом упоминает только сомнительные шаблоны: “империализма, политической власти, создания национального имиджа и пропаганды”.

Все-таки стоило бы еще упомянуть, что вся юридическая система современной Америки (и Европы) основана на “римском праве”; что открытия и нововведения римлян в области зодчества находят применение в наше время; что это *они* ввели общественный транспорт; что их идеология и литература создали базу для эпохи Возрождения; что принципы государственного управления и налогообложения в их *империи* изучаются и используются сейчас теоретиками Европейского Союза.